

ЕВА ЗИМИНА



ПРОКЛЯТАЯ  
НЕВЕСТА ДЛЯ  
ЛУННОГО ДРАКОНА

Ева Зимина

**Проклятая невеста  
для лунного дракона**

«Автор»

2026

**Зими́на Е.**

Проклятая невеста для лунного дракона / Е. Зими́на — «Автор»,  
2026

Заряна видит ложь в отражении: у лжеца образ в зеркале отстаёт на один вдох. За этот дар в родном селе её зовут проклятой. А когда лунный сон крадёт её младшую сестру, Заряна нанимается зеркальщицей в замок Серебрянь — туда, где выплывает последний лунный дракон, а все зеркала завешены свинцом. Лорд Даэрин Веспер три года гаснет без истинной пары и готовится «уйти за зеркало» — тихо исчезнуть навсегда. Он не верит нищей зеркальщице, пока не понимает: она видит то, чего не видит никто. Родовое зеркало дома Веспер не ослепло. В нём кто-то есть. Кто-то смотрит с изнанки — и зовёт Заряну по имени. Чтобы спасти сестру и дракона, которого нельзя было полюбить, проклятой придётся сделать то, чего боится вся межа: назвать тьму по имени. Даже если для этого нужно самой шагнуть за зеркало — туда, откуда ещё никто не возвращался.

© Зими́на Е., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Глава 1. Зеркальный зал                  | 5  |
| Глава 2. Лорд, у которого лжёт отражение | 10 |
| Глава 3. Проклятая невеста               | 15 |
| Глава 4. Отпущенный за зеркало           | 20 |
| Конец ознакомительного фрагмента.        | 21 |

# Ева Зими́на

## Прокля́тая невеста́ для лу́нного дракона

### Глава 1. Зерка́льный зал

Зеркала в замке Серебрянь были завешены все до единого, а я всю жизнь зарабатывала тем, что снимаю с зеркал покровы.

Меня привезли на телеге торговца солью, вместе с мешками и запахом моря, которого здесь, в приграничье, не было уже тысячу лет. Возница ссадил меня у нижних ворот, взял деньги, не глядя в глаза, и уехал так быстро, будто боялся, что замок его окликнет. Люди всегда так уезжают от места, где живёт беда. Я привыкла. Я и сама была из тех, от кого уезжают быстро.

Замок стоял на скале над чёрной водой, и в сумерках его стены казались отлитыми из тусклого серебра — того, старого, что давно перестали чистить. Когда-то, говорили, Серебрянь светилась под луной, как зеркало, поставленное на ребро. Теперь она просто серела. Я запрокинула голову и посмотрела на башни, и каждое окно смотрело на меня в ответ мёртвым, слепым стеклом, затянутым тканью изнутри.

Завешивают зеркала в двух случаях. Когда в доме покойник — чтобы душа не заплуталась в отражении и ушла, куда положено. И когда в доме боятся того, что из отражения может выйти.

Я не знала пока, какой это случай. Но нутром чуяла — второй.

— Ты зеркальщица? — окликнули сверху.

На стене стоял человек в тёмном, немолодой, с лицом, вырубленным из того же серого камня, что и замок. Кастелян, решила я. У кастелянов всегда такие лица — будто им однажды поручили держать крышу, и они держат её собой, спиной, уже лет тридцать.

— Заряна из Глади, — сказала я. — Мне писали, что в Серебряни нужна рука. Чинить и серебрить.

— Писали, — согласился он неохотно и спустился к калитке. Отпер. Помолчал, разглядывая мой заплечный короб с брусками олова, ртутью в запаянной склянке, войлоком и кислотой. Всё честное ремесло зеркальщика умещается в короб на спине. — Тут, девка, чинить нечего. Тут всё завешено. Господин не велит открывать.

— Значит, буду серебрить то, что снимут, — сказала я ровно. — Или уеду обратно. Только той телеги уже нет, а до Глади шесть дней пешком, и половина через Заклятые пущи. Я лучше поработаю.

Он усмехнулся уголком рта — не весело, а так, как усмеваются люди, которым давно не смешно.

— Языкастая.

— Зеркальная работа тихая, — сказала я. — Язык от скуки отрастает.

Он пропустил меня во двор. И вот здесь я в первый раз почувствовала это место по-настоящему — не глазами, а кожей.

Холод. Не тот честный холод приграничной осени, что кусает щёки и гонит кровь. Другой. Ровный, ничей, вынутый. Так холодит зеркало, если прижаться к нему лбом в пустой комнате: оно забирает твоё тепло и ничего не отдаёт взамен. Весь двор Серебряни дышал этим забирающим. И слуги, что попадались навстречу, двигались, как двигаются в комнате с покойником, — тихо, боком, не поднимая глаз.

Никто здесь не смотрел друг другу в лицо. Я поняла это сразу, потому что сама всю жизнь так живу. Только я — по привычке ремесла: мне сподручнее видеть человека в стекле, чем в упор. А они — от страха.

— Как звать? — спросила я кастеляна, чтобы за разговором осмотреться.

— Ратмир, — сказал он. И, поколебавшись, добавил то, чего я не спрашивала: — Ты, девка, вот что. По замку ходи днём. На тёмную луну сиди в своей камере и не высывайся. И... — он споткнулся, — если где увидишь снятый покров, не смотри. Накинь обратно и уйди.

— А то что?

— А то ничего, — сказал он слишком быстро.

И вот тут я его поймала.

Я не смотрела ему в лицо — я смотрела в лужу у колодца, где мы стояли, в чёрную дождевую воду, гладкую, как хорошее зеркало. И в воде отражение Ратмира на слове «ничего» дрогнуло. Не всё. Только рот. Губы в отражении договорили «ничего» на миг позже, чем настоящие, — будто отражению пришлось соврать отдельно от человека, и оно замешкалось.

Так у меня устроен глаз. Я родилась с ним и полжизни думала, что все так видят, а вторую половину — прятала, поняв, что нет. У лжеца отражение всегда отстаёт. Чуть-чуть. На один вдох. Правда идёт из человека и его тени разом; ложь человек выпускает первым, а отражение подтягивается следом, нехотя, будто стыдится. Зеркало не лукавит. Лукавит тот, кто в него смотрит, — а зеркало только показывает, как трудно ему далась ложь.

Ратмир соврал мне на «ничего». Значит, «что-то» было. И это «что-то» стоило того, чтобы предупредить чужую зеркальщицу в первый же час.

Я не подала виду. Хорошая зеркальщица, как хороший вор, никогда не показывает, что уже вошла.

— Поняла, — сказала я кротко. — Днём хожу, ночью сижу, снятого не трогаю.

Меня поселили в нижней камере у кухни, где было хотя бы тепло от печной стены. Дали хлеба, овечьего сыра и кислого вина, разбавленного водой. Кормили честно — уже неплохо. Голодные замки злее сытых.

Перед закатом за мной пришла ключница — рыхлая, мягкая женщина по имени Веленя, из тех, кто всю жизнь носит на поясе связку ключей, как иные носят оберег. Она повела меня показывать работу, и по дороге я поняла главное про Серебрянь: тут не жили, тут пережидали. Гобелены висели ровно, свечи горели, полы были метены — но всё это делалось руками, которые уже ни на что не надеются. Так прибирают в комнате больного, про которого лекарь сказал: до утра.

— Вот эти, — Веленя показала на длинный ряд завешенных зеркал в переходе. Тяжёлые, старые, в кованых рамах. — Которые снимут — те и будешь серебрить, если облезли. А снимать... — Она пожевала губами. — Снимать будешь при мне. Сама не смей.

— Отчего же? — Я тронула край покрова. Ткань была плотная, чёрная, подшитая свинцовой каймой понизу, чтобы не отдувалась. Так не завешивают от пыли. Так запечатывают.

— Оттого, — сказала Веленя и посмотрела мимо меня в глубь перехода. — Господин не любит.

И вот тогда я в первый раз увидела его.

В дальнем конце перехода прошёл человек — высокий, в тёмном, и слуги перед ним расступались и опускали головы, как расступается вода перед носом лодки. Я не разглядела лица, только осанку — прямую до боли, будто он держал спину не мышцами, а одной волей. И ещё одно я заметила, потому что мой глаз выхватывает такое сам, помимо меня: когда он проходил мимо большого простеночного зеркала — единственного тут незавешенного, забытого, должно быть, — в стекле ничего не качнулось. Ни тени. Свеча в его руке отразилась, а он — нет. Будто мимо зеркала пронесли огонь без человека.



У меня по хребту прошёл озноб, тот самый, вынутый.

— Кто это? — спросила я, хотя уже догадалась.

— Лорд Даэрин Веспер, — тихо сказала Веленя. — Хозяин межи. — И, понизив голос до того шёпота, каким говорят самое главное и самое запретное, добавила: — Ты на него в зеркало не смотри. И при нём про зеркала молчи. Он этого... не выносит.

— Он болен? — спросила я прямо.

Веленя вздрогнула, будто я сказала непристойность.

— Он выцветает, — выговорила она через силу, и слово это она произнесла так, как в других домах произносят слово «умирает». — Третий год. С тех пор как схоронили старого лорда и межа... захворала.

— Захворала межа, — повторила я. — Зеркала оттого и завесили?

— Оттого, — сказала Веленя. И недоговорила — я поняла это по её отражению в том самом простеночном стекле: на слове «оттого» оно задержалось на вдох дольше самой Велени. Не ложь. Умолчание, натянутое до звона. Она знала больше, чем говорила, и это «больше» было такое, что от него у мягкой ключницы дрожали руки на ключах.

Я не стала давить. Первый вечер не для того, чтобы ловить людей за руку. Первый вечер — чтобы понять, где в доме держат правду и почему её так боятся.

— А то большое, в гроте под замком, — спросила я невинно, будто просто прикидываю объём работы, — его серебрить не надо?

Веленя остановилась. Медленно повернулась ко мне. И в её круглом добром лице проступило что-то, отчего я поняла: про грот тут не спрашивают.

— Про лунный колодец забудь, — сказала она. — Туда хода нет никому. Там... — Она сглотнула. — Там оно и ослепло. Три года назад глянула туда межа на большом обряде — а оно возьми и затуманься на всю округу. С тех пор пары у нас не сходятся, драконы наши выцветают, а кто на смотрины к зеркалу пришёл, те, бедные, спят. Оно фальшивое сердце валит в сон, понимаешь? Кто солгал себе про любовь, того и не примет.

— Понимаю, — сказала я.

Я не понимала. Точнее, понимала совсем не то, что она думала. Потому что я двадцать два года гляжусь в стёкла и знаю про них одну вещь, которой не знают те, кто их боится: зеркало не валит человека в сон за фальшь. Зеркало вообще ничего не делает по своей воле. Оно — гладь. Оно показывает. Если гладь помутилась разом на всю округу и держит людей за отражения — значит, в неё что-то вошло. Кто-то смотрит с той стороны. И этот кто-то очень не хочет, чтобы его называли своим именем.

Веленя ушла, гремя ключами, и в её походке было облегчение человека, сдавшего опасный разговор.

А я вернулась в каморку, дождалась, пока стихнет замок, взяла свечу — и пошла делать то, ради чего проехала полстраны на соляных телегах и солгала про нужду в серебрении.

Я пошла искать Зеркальный зал.

Про него я узнала два года назад — от бродячего лудильщика, что забрёл в Гладь и за миску похлёбки рассказывал страшное про приграничье. Будто в замке Веспер есть зал, где лежат спящие. Не мёртвые — спящие. Молодые, красивые, не старятся и не гниют, а лежат под зеркалами уже не первый год, и никто не может их разбудить. И будто ложатся туда те, у кого сердце оказалось фальшивым: подойдёт человек к великому зеркалу межи, а оно вместо того, чтобы благословить, затуманится и повалит его в сон, потому что нельзя фальшивому сердцу глядеться в правду.

Я слушала и мяла в кулаке край платка, потому что за полгода до того у нас пропала Веся.

Моя сестра. Младшая. Ей было четырнадцать, когда она ушла с обозом свах на смотрины к лунной меже — не всерьёз, а как ходят девчонки: поглядеть на драконью землю, на серебряный замок, себя показать. Все возвращались. Веся не вернулась. Обозник привёз назад её

платок и одно слово: «уснула у зеркала». И прибавил, отводя глаза, то самое — про фальшивое сердце. Про то, что моя сестра, оказывается, была лгуньей, раз зеркало её не приняло.

Веся не была лгуньей. Я знаю это лучше всех на свете, потому что я — та, кто видит ложь в отражении, и я выросла с ней бок о бок, и её отражение никогда, ни разу за четырнадцать лет не отстало от неё ни на волос. У моей сестры была самая честная тень в мире. Что бы там ни туманилось в их великом зеркале — оно солгало. А я не выношу, когда зеркала лгут. Это против их природы. Это как если бы вода потекла вверх.

За это, за мой дар, меня и в Глади не любили. Мать всю жизнь учила: молчи, что видишь. Зеркальную девку, которая ловит ложь, добрые люди зовут проклятой и однажды тихой ночью топят в тех же тихих озёрах, где она подглядывала за их тенями. Я усвоила урок. Я научилась смотреть и не говорить. И только два раза в жизни нарушила это правило: когда сказала матери, что сосед лжёт про долг, — и когда поклялась над Весиным платком, что найду, кто крадёт у моей сестры её честное отражение.

Два года я собирала на дорогу и училась не бояться. И вот я здесь.

Зал я нашла по холоду. Он тёк из-под двойных дверей в северном крыле, как сквозняк из погреба, — тот самый вынутый холод, только гуще. Двери не были заперты. Кого запирать от спящих? Спящие не выходят.

Я толкнула створку и вошла.

Зал был длинный, низкий, со сводами, и вдоль обеих стен на каменных лежанках, устланных серым полотном, лежали люди. Я насчитала девятнадцать, прежде чем сбилась. Мужчины и женщины, старые и молодые, в одеждах разного достатка — от вышитых кафтанов до простой холстины. Их не связывало ничто, кроме сна. Лица у всех были покойны той нехорошей, гладкой покойностью, какой не бывает у живых, — так лежит человек, из которого вынули сны и оставили одну оболочку дышать.

Над каждой лежанкой висело зеркало. Небольшое, в простой оправе, и — единственные во всём замке — эти не были завешены. Я подошла к ближнему и поняла почему.

В зеркале не отражался спящий. Совсем. Лежанка отражалась, полотно, свеча в изголовье — а человека не было. Пустое место, вмятина в сером полотне, и никого над ней. Будто спящего в зале нет, а он уже где-то там, за стеклом, и стекло держит его, как держат за руку, чтобы не упал.

Я знала это чувство наизнанку. У живого человека тело здесь, а отражение там, и между ними натянута ниточка. У этих ниточка была натянута не туда. Их отражения кто-то забрал за зеркало и держал, а тела оставил доживать в зале.

Их не усыпили. Их украли. По половинке. И ещё я поняла, что за зеркала над ними висят. Это были не простые стёкла. У каждого по нижней кромке шла тонкая, стёртая пальцами насечка — оправка поминальная. Такие вешают не для того, чтобы гляделись живые. Такие вешают, чтобы помнили мёртвых: у нас в Глади в красном углу тоже держат зеркальце, и когда кто уходит, в него глядятся последний раз и потом завешивают на сорок дней — чтобы ушедший нашёл дорогу и не звал за собой. Здесь, в замке лунных драконов, обычай, видно, был старше и строже, а зеркала — заветнее. Только теперь их вывернули наизнанку. Кто-то взял стёкла, в которых межа помнила своих мёртвых, и повесил над живыми. И живые в них не отражались — как мёртвые.

Меня замутило — не от страха, от узнавания. Всю жизнь я видела, как у лжецов отражение отстаёт на вдох. А здесь отражение отстало навсегда. Здесь кто-то сделал ремеслом то, что у людей выходит от слабости.

Я пошла вдоль лежанок, вглядываясь в лица. У пожилого мужчины в добротном кафтане на пальце был перстень старшины гончарного цеха; у молодой женщины на груди спал, посапывая, младенец — его, значит, приносили кормить к спящей матери и уносили. От этой мелочи — от того, что кто-то додумался носить дитя к неразбужимой груди, — у меня сжало



горло сильнее, чем от всего зала. Люди не сдавались. Они кормили, обмывали, меняли полотно, ждали. Два года, три. Замок переживал не смерть. Замок переживал сон, из которого никак не проснуться.

И на двенадцатой лежанке я остановилась, потому что сердце ударило раньше, чем я успела прочесть глазами.

Веся.

Выросшая. Ей было бы теперь шестнадцать, и она такой и лежала — уже не девочка, тонкая, с русой косой через плечо, с этой её родинкой у виска, из-за которой в детстве дразнили «мушкой». Два года я не знала, жива ли. Теперь знала. Жива. Дышит. И — нет её в зеркале над лежанкой; пустое серое полотно, свеча, и никого.

Я опустилась на колени у её изголовья и взяла холодную руку в свои. Плакать я разучилась года полтора как — слёзы кончаются, если долго держать их про запас. Поэтому я просто держала её руку и говорила ей тихо, как говорила в детстве, когда она боялась грозы:

— Я приехала. Слышишь? Долго ехала. Я тебя отсюда вытащу. Мне только надо понять, кто держит тебя за стеклом. Я его найду. Я всегда нахожу, где ложь.

— Только держись, — шепнула я ей в холодные пальцы. — Ты всегда умела ждать лучше меня. Потерпи ещё чуть-чуть. Я разучилась плакать, чтобы доехать до тебя. Не заставляй меня вспоминать как.

Веся дышала и не слышала.

Я поднесла ладонь к её зеркалу — почти касаясь, как подносят руку к печи, проверяя жар. И почувствовала. Оттуда, из пустого стекла, тянуло не холодом даже — вниманием. Так чувствуешь спиной чужой взгляд в толпе, ещё не обернувшись. За Весиным отражением кто-то стоял и смотрел на меня через место, где полагалось быть моей сестре.

А потом свеча дрогнула.

Не от сквозняка — сквозняк тёк ровно, я бы почувствовала. Свеча дрогнула сама, будто кто-то за стеклом качнул её пальцем. И я, не вставая с колен, подняла глаза на большое зеркало в дальнем торце зала — старинное, в потемневшей раме, единственное большое во всём зале, и, в отличие от малых, завешенное чёрным. Только угол покрыва сполз, открыв клин стекла.

Я не должна была смотреть. Ратмир предупреждал. Веления предупреждала. Я всё равно посмотрела — потому что зеркальщик не может не смотреть в стекло, это сильнее страха, это как дышать.

В открытом клину отражался зал: лежанки, свечи, я на коленях у Веси.

Только «я» в отражении не стояла на коленях.

Она стояла прямо. И смотрела на меня. И это была не я.

Лицо было моё — и не моё. Мои волосы, мой платок, мой прямой нос. Но глаза чужие, и в них не было ни узнавания, ни злости — было терпение. Долгое, каменное терпение того, кто ждал очень давно и знает, что дождётся. Отражение улыбнулось мне — медленно, будто пробуя мышцами чужое лицо, — и губы его беззвучно сложили два слога.

Моё имя.

За-ря-на.

## Глава 2. Лорд, у которого лжёт отражение

Я не спала до рассвета, но не от страха. От работы. Голова у меня работает, как руки у пряжи: если уж взялась за нить, не бросит, пока не размотает.

Кто-то смотрел на меня из зеркала моим лицом. Значит, он мог носить чужие лица, как я ношу платок. Значит, он был не спящий и не покойник, а что-то третье, для чего у нас в Глади и слова-то нет. И он знал моё имя, которого я в замке не называла никому, кроме Ратмира у калитки. Услышал через стекло? Прочёл по губам, когда я шептала сестре? У меня было много вопросов и ни одного, который можно было бы задать вслух, не угодив к утру в те самые тихие озёра, куда топят проклятых.

Поэтому утром я делала то, что умею лучше всего. Молчала и работала. У ремесла есть милость: пока трёшь войлоком серебро, руки заняты, а страх сидит смирно, как пёс у ноги. Мать говорила: зеркальщик потому и живёт долго среди чужих теней, что не даёт голове опередить руки. Голова напридумывает — руки поправят. Я всю жизнь этим спасалась.

Замок просыпался медленно и неохотно, как просыпается тот, кому снилось дурное. Гремели вёдрами у колодца, пахло дымом и подгорелой кашей, где-то мычала корова, которую забыли подоить вовремя. Обычные утренние звуки — и оттого ещё страшнее было знать, что под этой обычностью лежат девятнадцать спящих и гаснет, как свеча, хозяин дома. Беда умеет прятаться в буднях лучше, чем в грозе. В грозу её ждёшь. А она приходит с подгорелой кашей.

Веленя привела меня в оружейную галерею, где сняли с трёх зеркал покровы — старые венецианские стёкла в кованых рамах, потемневшие по краям, с проплешинами амальгамы, как лишай на спине старого пса. Настоящая работа, честная. Я разложила короб, развела в плошке ртуть с оловом, натёрла войлок и принялась править нижний угол первого зеркала, где серебро сошло совсем.

Работа зеркальщика тем и хороша, что руки заняты, а глаза свободны. Я правила амальгаму и смотрела в галерею — в отражении, конечно, потому что в отражении мне видно то, чего не видно прямо.

И увидела, как он вошёл.

Лорд Даэрин Веспер вошёл в галерею с дальнего конца, и я разглядела его наконец как следует — в стекле, над своим плечом. Высокий, худой той худобой, что бывает не от голода, а от растраты; тёмные волосы с проседью, которой не должно быть в его годы; лицо резкое, красивое резкой, неудобной красотой — так красив клинок или зимняя скала. Ему было, наверное, чуть за тридцать, а глаза смотрели так, будто ему триста и он устал держать все триста на весу.

И кожа у него светилась.

Не как у здорового человека — изнутри, ровным, холодным, лунным светом, будто под ней вместо крови текло разбавленное молоко зимней луны. Красиво и страшно. Так, наверное, выглядит свеча за миг до того, как воск победит фитиль.

Я опустила глаза к работе, но было поздно.

— Ты смотришь на меня в зеркало, — сказал он. Голос был низкий, ровный, без нажима — голос человека, привыкшего, что его слушают с первого раза. — Все в этом замке научились не смотреть. А ты приехала вчера и уже смотришь. Отчего?

— Оттого, милорд, что я зеркальщица, — сказала я, не оборачиваясь. — Мне что стена, что человек — я всё вижу в стекле. Привычка ремесла. Простите, если оскорбила.

— Не оскорбила. — Он подошёл ближе. Я слышала шаги — тихие, слишком лёгкие для его роста. — Ты видишь в стекле лучше, чем в упор?

— Вернее.

— Почему вернее?

Опасный вопрос. Я потёрла войлоком угол, выгадывая время.

— Потому что в упор человек показывает то, что хочет, — сказала я осторожно. — А в стекле — то, что есть. Стекло не умеет льстить. Оно бедное на выдумку.

Он молчал так долго, что я всё-таки обернулась.

И совершила ошибку — посмотрела не в зеркало, а на него. Прямо. И тут же поняла, отчего в замке этого не делают. Вблизи его лунный свет был виден яснее: под кожей у ключиц, у висков, на тыльной стороне руки он густел, как иней на стекле к ночи. Лорд Даэрин Веспер гас у меня на глазах — тихо, ровно, третий год.

— Насмотрелась? — спросил он без злости. Скорее с горькой усмешкой человека, привыкшего пугать.

— Простите, — сказала я. И, потому что не умею вовремя закрыть рот, добавила то, чего говорить не следовало: — Вам холодно с той стороны, милорд. Не здесь. Там.

Он замер.

— Что ты сказала?

Отступать было поздно. Я кивнула на зеркало у него за спиной — то, что я только что правила, ещё влажное, но уже верное. В нём отражалась галерея и он.

Вернее — почти он.

— Посмотрите сами, — тихо сказала я. — Только не пугайтесь.

Он не хотел. Я видела, чего ему это стоило — обернуться к стеклу, которого он не касался взглядом, должно быть, месяцами. Но он был из тех, кто идёт на страшное, если сказать ему «не смей». Он обернулся.

И его отражение обернулось следом. Не вместе с ним. Следом. На один долгий, тошнотворный вдох позже — так, что был миг, когда он уже смотрел в стекло, а отражение ещё стояло к нему спиной, и лунный свет под его отражённой кожей горел ярче, гуще, чем под настоящей.

Как у лжеца. Только лгал не он. Лгало само его отражение — оно уже жило само по себе, оно уже наполовину принадлежало не ему, а тому, что тянуло его за стекло.

Даэрин смотрел на это, и лицо у него было такое, что я отвела глаза. Есть чужой стыд, на который нельзя глядеть, — стыд человека, которого застали не за грехом, а за бедой.

— Давно? — тихо спросила я.

— Три года, — сказал он, не оборачиваясь. — Сперва отставало на моргание. Теперь — на вдох. Скоро отстанет совсем. И тогда оно шагнёт сюда, а я — туда. — Он наконец отвернулся от стекла. — Ты первая, кто это видит. Лекари не видят. Кастелян не видит. Даже я вижу, только если заставляю себя, а я давно себя не заставляю. Кто ты такая, зеркальщица из Глади?

Вот он, тот перекрёсток, на котором меня всю жизнь учили сворачивать в молчание. Скажешь, что видишь ложь и беду в стекле, — и ты проклятая, и до озёр недалеко. Промолчишь — и останешься одна со своим даром, как была всегда.

Но передо мной стоял человек, у которого лгало собственное отражение. Единственный, кажется, в этом замке, кому мой дар был не диковиной и не угрозой, а зеркалом его собственной беды.

И я сделала то, что делала в жизни всего дважды. Сказала правду.

— Я вижу в отражениях то, чего не видят другие, — сказала я. — Ложь. Беду. Отставшую тень. У кого совесть нечиста — у того отражение мешкает на вдох, вот как ваше сейчас. Я родилась с этим и всю жизнь скрывала, потому что за такое топят. Я сказала вам, потому что вы и без меня это видите. И потому что, милорд, ваше отражение вам не врёт по своей воле. Его заставляют. Кто-то тянет его за стекло, как тянут за верёвку. Я такое уже видела. Вчера. В вашем зале спящих.

Он шагнул ко мне так резко, что я едва не отпрянула.

— Ты была в Зеркальном зале.

— Была.

— Тебя предупреждали.

— Предупреждали, — согласилась я. — А у меня там сестра. Веся. Два года как уснула у вашего зеркала, и два года её зовут лгуньей с фальшивым сердцем. Я приехала не серебрить ваши рамы, милорд. Я приехала за ней. И я скажу вам то, что не скажу больше никому: ваше великое зеркало не слепо. И спящие не фальшивы. У них у всех украдены отражения — так же, как крадут ваше. В зале над ними висят поминальные зеркала, вывернутые над живыми, и в этих зеркалах кто-то держит их тени. Кто-то, кто носит чужие лица. Ночью он надел моё и назвал меня по имени.

Я думала, он не поверит. Прикажет высечь и выгнать. Или — если человек он тяжёлый — вовсе запрёт.

Он не сделал ни того, ни другого. Он побледнел. И под бледностью его лунный свет вспыхнул ярче, будто от испуга гас быстрее.

— Как он выглядел, — проговорил он, — тот, кто носит лица?

— Я видела только своё лицо на нём, — сказала я. — Но глаза были не мои. Терпеливые. Как у того, кто ждал очень долго.

Даэрин отвернулся к окну, за которым серело холодное приграничное утро, и долго молчал. Потом сказал — не мне, себе:

— Отражённый.

— Что?

— Сказка, — сказал он. — Детская страшилка дома Веспер. «Не смотришь в зеркало на исходе луны — там смотрит Отражённый». Мне её рассказывал отец, когда хотел, чтобы я не бегал к лунному колодцу один. Будто в старину был у межи великий зеркальник, что умел говорить с зазеркальем, и, умирая, испугался уйти, как все, — и вместо того чтобы отпустить себя за зеркало, шагнул туда сам и остался. С той поры он живёт с изнанки всех наших зеркал и ждёт, когда его позовут по имени. — Даэрин коротко, невесело усмехнулся. — Отец рассказал мне это в последний раз за ночь до своей смерти. А наутро его не стало, и мы отпустили его за зеркало, как положено. И с той ночи, зеркальщица, всё и началось.

За окном каркнула ворона. В галерее было так тихо, что я слышала, как сохнет на зеркале моя амальгама.

— Значит, не сказка, — сказала я.

— Значит, не сказка, — согласился он. И посмотрел на меня — впервые прямо, не в стекло, и я выдержала этот взгляд, хотя от него холодило, как от лунного колодца. — Ты либо самая опасная гостья, что переступала мой порог, зеркальщица, либо первая за три года, кто сказал мне правду. Я пока не решил, которая.

— Это честно, — сказала я. — Я про вас думаю то же самое.

Уголок его рта дрогнул — не улыбка, тень улыбки, но и на том спасибо; в этом доме, я уже поняла, и тень улыбки была на вес серебра.

— Ты останешься, — сказал он. — Не как зеркальщица. Не притворяйся больше, тебе не идёт. Ты видишь то, чего не вижу я, а мне надо видеть, что делается с моей межой, пока я не выпвел совсем. Взамен... — он поколебался, и это далось ему тяжелее, чем всё сказанное прежде, — взамен я допущу тебя к сестре. И к тому, что знаю сам. Немного, но знаю.

— По рукам, — сказала я быстро, пока он не передумал.

— Только одно условие. — Он поднял палец, и лунный свет под ногтем горел, как холодный уголёк. — К лунному колодцу не подходи. Ни днём, ни ночью, ни за мной, ни без меня. Это единственное зеркало, которого я боюсь. И должна бояться ты.

— Отчего вы его боитесь больше прочих?

— Оттого, — сказал лорд Даэрин Веспер, и на этом слове — я поймала это в стекле, привычно, помимо воли, — его отражение не отстало. Он не лгал. — Оттого, что все прочие зеркала он занял. А в колодце — живёт.

Днём меня нашёл Ратмир. Он не сказал ни слова про наш с господином разговор — значит, донесли, и он уже знал, что чужая зеркальщица вдруг стала при лорде кем-то вроде глаз. По его лицу было видно, что он про это думает, и думает недоброе.

— Госпожа моя теперь ты, что ли, — сказал он вместо приветствия, и в «госпоже» было столько же почтения, сколько соли в колодезной воде.

— Никакая я не госпожа, — сказала я. — Я по-прежнему серебрю рамы. Просто теперь ещё и смотрю. Тебе-то что за печаль, кастелян? Я твоего места не займу. Мне бы сестру разбудить да уехать.

Он посмотрел на меня долго и тяжело.

— Уехать, — повторил он. — Отсюда не уезжают, девка. Отсюда либо выцветают, либо засыпают, либо остаются держать. Я вот держу. Тридцать лет держал при старом лорде, теперь при молодом держу. — Он отвернулся. — Ты за сестру пришла. А у меня тут своя лежит, в зале. Жена. Мойра. Третий год.

Я не знала, что сказать, и потому сказала правду:

— Мне жаль.

— Всем жаль, — сказал Ратмир глухо. — От «жаль» она не проснётся. — И, помолчав, прибавил то, за что я потом долго на него молилась и ещё дольше подозревала: — Ты, если и вправду видишь, что другие не видят, — гляди в оба. Только про то, что видишь, помалкивай, покуда не поймёшь, кому в этом доме можно верить. Тут, девка, у каждого своя лежит в зале. И каждый ради своей на многое пойдёт.

Он ушёл, а я осталась думать над его словами, и они мне не понравились. «Каждый ради своей на многое пойдёт» — так говорит либо тот, кто боится чужой слабости, либо тот, кто оправдывает свою.

В тот же день я увидела своими глазами, чем больна межа.

Во двор пришла молодая пара — деревенские, из ближнего села, он в новой рубаше, она в венке, за ними родня с караваем. Пришли, как приходят на счастье: проситься к лунному зеркалу, чтобы оно благословило их союз и поставило им, как ставило испокон веку, парную лунную грань — серебряный серп на запястья, знак, что двое — одно. Так здесь женились. Так здесь всегда женились, у зеркала правды.

Их не пустили к колодцу — туда не пускали никого. Но у ворот стояло малое обрядовое зеркало, вынесенное из часовни, и старуха-обрядница поднесла к нему сложенные руки жениха и невесты, как делали, должно быть, тысячу лет.

Зеркало задрожало. Не затуманилось — задрожало, будто по глади провели пальцем, и серп не сошёлся: две половинки серебряного знака выступили на запястьях и не сомкнулись, растаяли. Зеркало не сказала «ложь». Оно сказала «не могу». Оно словно тянулось благословить и не дотягивалось, будто кто-то держал его за руку с той стороны.

Невеста заплакала. Жених стоял белый. Родня загудела — тихо, испуганно, и в этом гуле я расслышала знакомое: «третий год не сходятся», «проклятая межа», «уходить надо отсюда, пока драконы не выцвели все».

А я смотрела в дрожащее зеркало и видела то, чего не видели они. За рябью, за не сошедшимся серпом, в самой глубине стекла стояло внимание. Кто-то там, с изнанки, придерживал благословение двумя пальцами — легко, походя, как придерживают дверь, чтобы не хлопнула. Этим двоим не дали стать одним не потому, что сердца их фальшивы. Им не дали, потому что каждая несошедшаяся пара — это свет, который не вспыхнул. А тот, кто живёт в зеркалах, кормится темнотой. Он гасил их нарочно.

Мне стало так холодно, как не было даже ночью у Веси. Потому что я поняла: это не порча и не хворь. Это чей-то расчёт. Кто-то методично, три года, гасит на меже всякую любовь, что могла бы вспыхнуть, — и ест эту несбывшуюся тьму.

Вечером я упростила Веленю пустить меня к сестре — теперь, с дозволения господина, ключница не смела отказать, хоть и косилась. Я снова сидела у Весиной лежанки, держала холодную руку и смотрела в пустое зеркало над ней, где не было моей сестры. И тихо, чтобы не слышала Веленя у дверей, сказала в это пустое стекло:

— Я знаю, что ты там. Я не боюсь. Я всю жизнь смотрю в зеркала и знаю про них больше, чем ты думаешь. Ты взял мою сестру, чтобы кормиться её честным сердцем. Так вот: у неё сердце честнее твоего в тысячу раз, и подавишься ты им рано или поздно. А я тебя найду. И назову. Ты ведь оттого и прячешь имя под стёртой табличкой, что знаешь: назови тебя вслух — и всё.

Зеркало молчало. Но свеча в изголовье качнулась — коротко, как кивок. Он слышал. Он всегда слышал. И это, как ни странно, меня успокоило: с тем, кто слышит, можно говорить. А с кем можно говорить — того можно и переговорить. Я это умею.

В ту ночь была тёмная луна.

Я сидела в каморке, как велели, не высывалась, как обещала, и всё равно не уберегла. Под утро замок поднял крик. Я выбежала вместе со всеми — и в оружейной галерее, у того самого зеркала, что я вчера правила и не успела к ночи завесить, лежала на полу молодая судомойка, Насьта. Живая. Дышала. И спала тем самым гладким, вынутым сном, из которого не будят.

А над ней, в свежавыправленном мною стекле, не было её отражения. Только пол, свеча — и пустота на том месте, где ей полагалось лежать.

И вот тогда меня прошибло насквозь — холоднее всякой толпы. Он взял Насьту не через любое стекло. Он взял её через то, что вчера правила я. Свежая амальгама, положенная моей рукой, чистая, звонкая, верная, — самое лучшее зеркало во всём замке за эту ночь, потому что я хорошая зеркальщица. Он дождался, пока я наведу ему гладкую дверь, и вошёл в неё. Моё ремесло. Моими руками.

Он не просто крал спящих. Он показывал мне, что видит меня. Что знает, зачем я приехала. И что готов брать по девке за каждую ночь, которую я проведу под его крышей, и всякий раз — так, чтобы вина ложилась на меня.

Это была не случайность. Это было приглашение к разговору. И первое слово в нём он сказал чужим сном.

Слуги расступились, и в их лицах, повёрнутых ко мне, не было больше страха передо мной как перед чужой. Был страх и обвинение разом.

— Она сняла покров, — сказал кто-то в толпе, тихо и оттого страшно. — Проклятая зеркальщица открыла стекло — вот оно и взяло девку.



### Глава 3. Прокля́тая невеста́

Толпа — это зеркало, в которое смотрится страх. Я поняла это в то утро, стоя посреди двора Серебряни, а вокруг смыкалось кольцо лиц, и в каждом отражалось одно и то же: им нужен был виноватый, чтобы не бояться самим.

— Прокля́тая, — сказал кузнец, широкий, как ворота, и в его голосе было больше ужаса, чем злобы. — Приехала — и в первую же ночь взяла девку. Раньше по одному в сезон засыпали, а тут за две ночи двое. Это она. Зеркальщицы все порченые. Она стекло откроет — а оно и утянет.

— Утопить, — сказал кто-то сзади, негромко, буднично, как говорят про хозяйственное. — В тихих озёрах. Как у нас порченных топят.

Я стояла тихо. Кричать бесполезно — крик толпа слышит как признание. Я смотрела не на лица, а в бочку с дождевой водой у крыльца, где отражалось всё кольцо разом, и высматривала, кто из них уже решился, а кто ещё колеблется. Решившихся было трое. Колеблющихся — остальные. Если бросится первый, за ним пойдут все; если первого удержать, толпа осыпется, как непросоленное серебро.

Первого удержал не кто-то. Удержал холод.

Он лёг на двор внезапно, как тень от тучи, только тучи не было. Просто разом стало так студёно, что пар изо ртов повалил гуще, и вода в бочке подёрнулась у краёв иглами льда. Люди осеклись. И расступились.

Через двор шёл лорд Даэрин Веспер.

Он шёл медленно, и там, где он ступал, иней проступал на камнях звёздчатыми пятнами и таял следом. Лунный свет под его кожей горел ясно, зримо для всех, и толпа смотрела на своего гаснущего господина со смесью почтения и жалости, от которой ему, я знала теперь, было тошнее, чем от ненависти.

— Кто сказал «утопить»? — спросил он тихо.

Молчание.

— Я спросил. — Он не повысил голоса, но иней на камнях пошёл гуще. — В моём дворе прозвучало слово «утопить». У меня хорошая память на голоса, а к вечеру будет и на лица. Так кто?

— Милорд, — кузнец шагнул вперёд, потому что был из тех, кто со страху лезет в самое пекло. — Мы не со зла. Но рассудите сами. Три года беда. И вот приезжает эта — и сразу Насьта. Народ боится.

— Народ боится, — повторил Даэрин. — Народ боится три года. А эта женщина приехала вчера. Три года, кузнец, вы боялись без неё. Три года мои люди засыпали, мои драконы выцветали, а вы носили к зеркалу караваи и удивлялись, отчего оно вас не благословляет. — Он обвёл двор глазами, и под этим взглядом кольцо оседало. — Она не краля Насьту. Насьту украл тот, кто крадёт у вас всех уже три года. И эта женщина — первая, кто может показать мне его лицо. Так вот моё слово. Она под моей рукой. Кто её тронет — тронет меня. А меня, — он усмехнулся, и в усмешке был лунный холод, — пока ещё хватает, чтобы за своё держаться. Разойдитесь.

Разошлись. Толпа всегда разойдётся, если дать ей повод не быть толпой. Они уходили, отводя глаза, и я видела в бочке, как облегчённо распрямляются их спины: страшного не случилось, решать не пришлось, добрый молодец за них решил. Люди больше всего на свете любят, когда за них решают, — тогда и вина не их.

Мы остались во дворе вдвоём — гаснущий дракон и прокля́тая зеркальщица. Хорошая пара, нечего сказать.

— Спасибо, — сказала я.

— Не благодари, — сказал он, и холод с камней уже сходил. — Я не тебя спас. Я спас свои глаза. Ты мне нужна зрячей, а не утопленной. — Он посмотрел на меня. — Хотя, признаться, ты держалась так, будто топить собирались не тебя. Тебе часто грозили озёрами?

— Дважды, — сказала я. — В первый раз мне было двенадцать. С тех пор я хорошо считаю, кто в толпе решился, а кто нет. Полезное умение. Рекомендую.

Он не рассмеялся, но что-то в его лице сдвинулось — тень тепла, быстрая, как рыбка под тёмной водой.

Нас прервали. Через двор шли трое: Ратмир, седой воевода межи по имени Гостята и молодой дракон из младшей ветви Весперов — Инвар, троюродный не то брат, не то племянник Даэрина. Инвар был из тех, кому лет двадцать пять и кто уже успел возненавидеть свою кровь: он тоже начинал выпцветать, и лунный свет под его кожей горел злым, ранним огнём. Он посмотрел на меня как на грязь, принесённую в дом на сапоге.

— Ты поставил своё слово за приблуду, — сказал Инвар без поклона. — Перед всей межой. За зеркальную девку, каких у нас топят. Даэрин, ты хоть понимаешь, как это выглядит? Господин гаснет, и в отчаянии хватается за первую ворожею, что наплела ему про изнанку. Половина села к весне уйдёт за перевал. Люди боятся. А ты им подсовываешь колдунью вместо защиты.

— Люди боятся три года, Инвар, — сказал Даэрин ровно. — И три года я их защищаю. Плохо, видно, раз ты считаешь дни до весны.

— Я считаю дни до того, как ты выпцветешь, — огрызнулся Инвар, и злость в нём была молодая, испуганная, некрасивая. — И тогда межа достанется мне — выпцветшая, спящая, проклятая. Спасибо за наследство.

Гостята, старый воевода, положил ему руку на плечо — тяжело, осаживая.

— Помолчи, — сказал он и повернулся к Даэрину. Лицо у него было усталое, честное лицо человека, что тридцать лет держал границу и разучился бояться всего, кроме бесчестия. — Милорд, парень груб, но не во всём неправ. Народ ропщет. И вот что скверно: ропщет не как прежде. Раньше боялись беды. Теперь... — он поискал слово, — теперь торгуются с ней. Ходят слухи, будто иным зеркало по ночам возвращает мёртвых — на погляд, на словечко. Будто с той стороны можно выпросить своё, если правильно попросить. И люди просят. Тайком. Я не знаю, милорд, что там с изнанки шепчет, но межа моя понемногу перестаёт бояться зеркал — и начинает им молиться. Вот чего я боюсь. Не колдуны твоей. Этого.

Я слушала воеводу и холодела. Он, сам того не зная, назвал самое страшное. Тот, кто в стекле, не просто крал. Он покупал. Три года он раздавал меже по глотку утешения — взгляд на умершего мужа, голос сгинувшего сына, — и брал за это по мелочи, по ниточке, по согласию. И теперь у него на меже были не жертвы. У него были должники. Сотни маленьких, стыдливых должников, каждый из которых предпочтёт молчать и торговаться дальше, чем помочь чужой зеркальнице его назвать.

— Спасибо, Гостята, — тихо сказал Даэрин. — Ты сказал важное. — Он посмотрел на меня, и я поняла, что он услышал то же, что и я. — Идите. И, Инвар: если тронешь её — забудь про наследство. Я, может, и гасну, но пока ещё дракон, а не свеча.

Они ушли. Инвар — не поклонившись. Гостята — поклонившись за двоих.

— Идём, — сказал он. — Раз уж я поставил на тебя перед всей межой, изволь оправдать ставку. Покажу тебе, с чего всё началось. И расскажу то, чего не рассказывал никому.

Он привёл меня не в зал спящих и не к запретному колодцу, а в верхнюю палату, где на стене висел единственный во всём замке портрет под покровом. Он снял покров сам. Под ним оказалось не зеркало — писанный образ: молодая женщина с тёмной косой, с гордым, немного печальным лицом, в платье цвета вечерней зари.

— Милена, — сказал Даэрин. — Дочь пограничного дома Замежье. Три года назад её сговорили за меня. Отец только что умер, межа осталась без хозяйки, а дракону без пары нельзя — я уже начинал выцветать, тихо, никто и не знал. Мне сказали: женись, закрепиись, пара удержит тебя. Мне подобрали Милену — по расчёту, по крови, по землям. Хорошая девушка. Мы почти не были знакомы. Мы пришли к лунному колодцу на большой обряд, чтобы зеркало поставило нам грань, — и зеркало... — Он замолчал. — Зеркало затуманилось. Впервые за всю память дома. Затуманилось, и Милена упала. И не встала. Первая из спящих. Три года она лежит в зале, и над ней пустое стекло.

Я смотрела на портрет и складывала. Складывать — моё второе ремесло после серебра.

— И вы решили, — тихо сказала я, — что зеркало отвергло вас двоих как фальшивую пару. Что это ваша вина. Что вы привели к правде нелюбовь — и правда за это забрала девушку и наказала вас, начав гасить вслед за ней всю межу.

— А что ещё я должен был решить? — спросил он, и впервые за всё время в его ровном голосе дрогнула трещина. — Зеркало межи не лжёт. Так меня учили. Значит, солгали мы. Значит, я привёл к священному стеклу нелюбовь и открыл этим дверь. С той ночи я и держусь только на одном: успеть разобрать беду, которую сам впустил, а потом уйти за стекло тихо, чтобы не отравить собой ещё и наследника. Я не собираюсь лечиться, зеркальщица. Мне незачем. Я собираюсь заплатить.

Вот оно. Вот на чём стоял этот человек три года: на вине. Он не гас от болезни. Он гас, потому что решил, что заслужил гаснуть. А это, я скажу вам, куда труднее лечится, чем всякая порча. Порчу снимают. Вину человек носит сам и сам стережёт, чтобы не отняли.

— Милорд, — сказала я как могла мягко, а мягко у меня выходит плохо, — я скажу вам то, что вы не захотите слышать. Зеркало вас не отвергло. Зеркало в ту ночь уже было занято. Ваш отец за сутки до смерти рассказал вам про Отражённого — а через сутки его отпускали за зеркало на большом обряде, и стекло было открыто настежь, чтобы выпустить его душу. Вот тогда, я думаю, тот, кто ждал с изнанки, и шагнул обратно — навстречу уходящему. Вы не впускали беду нелюбовью. Беда вошла в открытую дверь похорон. А Милена упала не потому, что фальшива. Она упала потому, что была первой, кто подошёл к колодцу после того, как в него вселились. Он взял её, чтобы не дать вам замкнуть пару. Замкнутая пара залила бы зеркало светом — а ему нужна тьма. Он с самого начала гасил вас нарочно. И три года вы платите виной по счёту, которого не подписывали.

Даэрин смотрел на меня, и я видела, как в нём воюют. Человеку страшно расстаться с виной, если он три года на ней стоял, — это как выбить у себя из-под ног пол. Легче остаться виноватым, чем оказаться просто обманутым: у виноватого хоть есть власть над своей бедой, он её причина. А обманутый — всего лишь жертва чужого расчёта. Гордым людям это тяжелее смерти.

— Ты не можешь этого знать, — сказал он наконец. Тихо. Без веры и без злости. Как говорит человек, который очень хочет, чтобы его переспорили.

— Не могу знать, — согласилась я. — Но могу видеть. И я видела сегодня во дворе, как ваше обрядовое зеркало не свело серп двум крестьянам. Оно не сказала им «ложь», милорд. Я знаю, как выглядит «ложь» в стекле, — это моё ремесло, я на этом выросла. Оно сказала «не могу». Его держали за руку с той стороны. Кто-то придержал их счастье двумя пальцами, лениво, как придерживают дверь. Ваша Милена не лгала. Эти крестьяне не лгут. Вы не лгали. Лжёт один — тот, кто сидит в стекле и три года морочит целую межу, чтобы кормиться вашей несбывшейся любовью. И я приехала, чтобы назвать его. Не ради вас, простите за честность. Ради сестры. Но выходит, что и ради вас тоже.

Он долго молчал. За окном садилось бледное солнце, и в палате густели те особые приграничные сумерки, ради которых, говорят, и зовутся здешние драконы сумеречными, — долгие, серебряные, будто мир на час превращается в зеркало.

— Если ты права, — сказал он медленно, — то три года я хоронил себя за чужой грех.

— Если я права, — сказала я, — то вы ещё живы, и это поправимо. Мёртвых не воскресишь. А недохороненных — можно откопать.

Он посмотрел на меня с чем-то, чему я не сразу нашла имя, а найдя — не поверила. Это была надежда. Маленькая, злая, недоверчивая надежда человека, который три года запрещал себе надеяться и вдруг поймал себя на этом, как на воровстве.

— Опасная ты, — сказал он тихо. — Я тебе почти верю.

— «Почти» — это разумно, — сказала я. — Верьте мне вполովину. Вторую половину держите при себе, пока я не докажу. Я и сама так делаю со всеми.

— И со мной?

— И с вами, — сказала я. — Пока ваше отражение отстаёт, я вам верю ровно настолько, насколько вижу, что тянут его, а не вы сами тянетесь.

Мы говорили ещё долго — про обряд «отпускания за зеркало», про то, как хоронят на меже, про малые поминальные стёкла над спящими.

Он рассказал мне про свою породу — скупое, будто платил за каждое слово. Лунные драконы дома Веспер, сказал он, всегда стояли на самой тонкой границе мира — там, где явь на исходе луны делается прозрачной и сквозь неё проступает изнанка. Оттого их и зовут сумеречными. Живой дракон ходит между тем и этим светом по своей воле, как я хожу из комнаты в комнату. А выпцветающий — истончается: его живая сторона тает, а отражённая густеет, пока не перевесит. И тогда он уходит за стекло совсем. Таких не хоронят в землю. Их помнят отражениями — вешают в родовой галерее пустое зеркало с именем, и в нём иногда, на тёмную луну, мелькает ушедший. «Мы — единственный дом, — сказал Даэрин, — что кладёт своих мёртвых не в камень, а в стекло. Наверное, поэтому именно у нас кто-то и научился в стекле оставаться».

— А ваш отец? — спросила я. — Он выпвел? Или?..

— Нет, — сказал Даэрин. — Отец умер как человек, от старой раны. Мать нашла его пару, они прожили полвека, он не гас. Оттого и странно, что беда началась с его похорон. Он всю жизнь стерёг меня от лунного колодца, а сам открыл его напоследок — своей же смертью. — Он невесело качнул головой. — Я иногда думаю: знал ли он. В ту последнюю ночь, когда рассказывал мне про Отражённого, — не попрощался ли он не только со мной, но и предупреждал?

Я не ответила. У меня у самой был такой мертвец, который напоследок сказал важное, а я поняла это лишь годы спустя. Я рассказала ему про Гладь — про тихие озёра, что лежат зеркалами меж холмов, про мать, что научила меня молчать про мой дар и умерла, так и не решившись сказать вслух, что она сама про меня знает. Про то, как в двенадцать лет меня впервые повели топить и как отступились в последний миг, потому что я назвала вслух, кто в деревне вор, и вор от страха сознался. «Меня спасло то самое, за что топили, — сказала я. — С тех пор я так и живу: мой дар — и моя петля, и мой нож». Даэрин слушал, не перебивая, и я поймала себя на том, что говорю ему то, чего не говорила вслух никому и никогда. Два одиноких человека узнают друг друга по особой тишине — по тому, как они молчат между словами. Мы молчали одинаково. Я рассказала ему про стёртую именную табличку под старым зеркалом в зале. Он не знал про неё — сказал, что в зал заходит редко, что не может смотреть на Милену. Мы уговорились назавтра пойти туда вместе и прочесть зал по-настоящему: он расскажет, кто есть кто из спящих, а я прочту их отражения.

Впервые за этот страшный день я легла спать почти спокойной. У меня появился союзник — гаснущий, недоверчивый, тяжёлый, но союзник. Вдвоём против того, кто в стекле, было уже не так страшно, как одной.

Я задула свечу. И в темноте каморки, где не было ни одного зеркала — я нарочно выбрала комнату без стекла, — тускло засветилось лезвие моего рабочего ножа, отполированного до блеска, прислонённого к стене.

В лезвии кто-то стоял.

Я села. Взяла нож. Поднесла к лицу. В узкой полоске стали, где едва помещалось лицо, отражалась не я.

Вся.

Моя сестра — живая, тёплая, с той самой родинкой-мушкой, смотрела на меня из лезвия и улыбалась мне так, как улыбалась в детстве, когда я возвращалась с работы и приносила ей леденец. И её губы шевельнулись, и я услышала — не ухом, а где-то за ухом, изнутри, — её голос, которого не слышала два года:

— Заряночка. Уйди отсюда. Уезжай домой, и я приду за тобой следом, целая, обещаю. Он отпустит меня, если ты уедешь и не станешь его называть. Одна твоя дорога назад — и мы обе дома, живые. Ну что тебе этот дракон? Он всё равно выцветет. А я — твоя сестра. Забери меня и уходи.

Это был её голос. До последней тёплой нотки — её. И это была самая страшная ложь, какую мне когда-либо показывали, потому что у неё не было отражения, чтобы отстать. Лезвие показывало мне сестру — а сестра лежала сейчас в зале через три стены отсюда и не могла ни улыбаться, ни звать.

На один удар сердца это почти сработало. «Да», — качнулось во мне, потому что это была Вся, живая, тёплая, звала домой, и я два года шла к ней через полстраны. «Да, только отпусти, да, я увезу тебя, да». Соблазн вошёл в меня, как входит тёплая вода, — и меня спасло, как всегда, ремесло. Ядохнула на лезвие. Живое отражение туманится от дыхания и проясняется следом — так дышит стекло, так дышит правда. Ядохнула — и туман лёг на сталь, и покатился по Весиному лицу, а лицо не дрогнуло. Оно улыбалось сквозь мою испарину ровно и терпеливо, не мигая, потому что за ним не было ни дыхания, ни крови — была картинка, писанная с той стороны рукой, что выучила мою сестру наизусть. Настоящая Вся сморгнула бы. Настоящая Вся дышала бы в ответ.

Он надел её лицо. Он выучил её голос. И он предлагал мне сделку.

## Глава 4. Отпущенный за зеркало

Наутро мы пошли в зал спящих вдвоём, и я поняла, чего стоил лорду Даэрину Весперу этот короткий путь по галерее. Он не был здесь, сказал он, почти год. Он не мог смотреть на Милену. Гордый человек, который решил, что впустил беду, три года не мог заставить себя войти в комнату, где эта беда спала его виной.

Он шёл вдоль лежанок и называл мне их — тихо, как называют по именам павших.

— Мойра, жена Ратмира. Уснула первой зимой, вслед за Миленой. Он с тех пор и держит замок один, чтобы не думать. — Дальше. — Гончар Свияр, старшина цеха; хороший был мастер, упрямый. Его дочь Насьта — та, что позавчера. Теперь спят рядом, отец и дочь. — Дальше. — Этих двоих я не знаю. Приходили на смотрины из-за перевала. Так и не проснулись, а родня не приехала. Мы их обмываем сами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.